А.С.Демин

О ТИПЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА СОЗДАТЕЛЕЙ "ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ"

Тип литературного творчества определяется по тому, как писатель отражает мир: во-первых, по изложению писателем принципов своего творчества; во-вторых, по изображению или описанию им объектов и явлений, по выделению качеств мира; и, в-третьих, по семантике используемых писателем форм и средств, то есть по его поэтике, отношению к структуре явлений мира. Обозначения разных сторон литературного творчества, вернее, манер мироописания, терминологически еще не установились; наверное, можно употреблять и другие слова; но сама связь категорий, кажется, соответствует объективной действительности и, несмотря на некоторую наивность научного замысла, может быть применена к древнерусской литературе. Нужна только точность понимания той реальности, той семантики.

Древнерусские писатели, особенно древнейшие, обычно не рассуждали о принципах их творчества, по отдельным редким оговоркам нельзя воссоздать что-то цельное. Гораздо полезней заниматься писательской картиной мира. К определению же типа литературного творчества больше всего приближает изучение семантики повествовательных форм и средств; именно этой теме посвящена данная работа.

"Повесть временных лет" — это своего рода этап в истории древнейшего литературного творчества, достойный специального рассмотрения. Пока трудно различить вклад каждого из составителей летописи, и поэтому приходится говорить о творчестве собирательного летописца XI — начала XII вв. Наблюдения проводятся над тремя повествовательными формами, распространенными в летописном тексте и тесно связанными друг с другом,— над изобразительными отрывками, над компактными характеристиками летописных персонажей, над перечислениями и перечислительными описаниями. Семантический анализ, наверное, поможет лучшему пониманию текста памятника.

1. Семантика изображений

Реально было вот что: летописец рассказывал о далеком прошлом по различным источникам, стремясь излагать факты и мысли ("скажемъ, что ся здся" — 17, под 852 г.[1]), но не создавать картины и не выражать личные впечатления. Слово "образъ", употреб-

лявшееся в летописи, не имело отношения ни к изложению, ни к авторскому и читательскому воображению, а обозначало нечто отчетливо зримое в окружающей жизни — наружный облик человека, существа или вещи; образцовые одежды и поведение людей; чудесные явления и видения.

Летописец лишь иногда отмечал степень значительности, но только чужих высказываний. О человеке совсем незатейливом и его речах летописец отзывался так: "умомъ простъ и просторекъ" (202, под 1089 г.). Экспрессивная речь: "смыслъ буй и словеса величава" (222, под 1096 г.). Длинное и искусное повествование определялось иначе: "хитро сказающе и чюдно слышати..." (104, под 987 г.). Были "словеса",— так обобщенно называл их летописец,— особо сложные по смысловой структуре, в которых летописец ощущал "многу мудрость" и особенную выразительность (60, под 955 г.; 148, под 1037 г.),— к ним летописец относил библейские и святоотческие книги ("книгамъ бо есть неищетная глубина" — 148, под 1037 г.), а также "притчи" — пословицы со скрытым содержанием (11; 76, под 980 г.).

Изобразительные средства чаще всего использовались летописцем для подчеркивания значительности тех или иных мыслей и этических оценок. Например, под 1075 г. княжеская казна — "бещисленое множьство, злато, и сребро, и паволокы" — была косвенно сопоставлена с мертвецом ("се бо лежить мертво", потом, подобно истлевшему мертвецу, "расыпася розно"), чтобы поддержать мысль об ином принципе накопления богатств: живые "кметье луче — мужи бо ся доищють и болше сего" (192–193). В летописи использовались только неразвернутые или шаблонные тропы как эпизодическое подсобное средство для обслуживания мыслей в наиболее важных местах больших рассказов. Например, в повествовании под 1097 г. об ослеплении Василька Теребовльского краткие изобразительные характеристики (в основном, сравнения) получили все основные герои в самый напряженный, в самый страстный момент их деятельности. Давыд перед совершением злодеяния представлен заторможенным от ужаса, как внезапный глухонемой: "Давыдъ же седяше, акы немъ... и не бе в Давыде гласа, ни послушанья — бе бо ужаслься" (250); Василько представлен "яко и мертвъ", почти что на том свете: "Да быхъ в той сорочке кроваве смерть принялъ и сталъ предъ Богомъ" (252); Владимир "приходящая к нему напиташе и напаяше, акы мать дети своя" (255); пик событий подчеркивался таким же способом: "сбиша угры, акы в мячь, яко се соколь сбиваеть галице" (261); и т.п.

Нет оснований говорить о художественном, то есть образном творчестве летописца, заключающемся в сложении предметных смыслов, переносе признаков одного объекта на другой объект, слиянии объектов в изобразительное целое, не соответствующее ис-

торической реальности (по известному принципу: человек + конь = кентавр).

И все же что-то похожее на изобразительное творчество у летописца обнаружить можно. Примером служит отрывок уже в самом начале летописи, где летописец перечислил длинный ряд стран и земель, доставшихся сыновьям библейского Ноя — Симу, Хаму и Иафету, использовал перечни из древнерусского перевода "Хроники" Георгия Амартола[2], а затем приступил к собственным перечислениям северного этнического состава: "В Афетове же части седять: русь, чюдь и вси языци,— меря, мурома, весь, моръдва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, угра, литва, замегола, корсь, летьгола, любь" (3). Здесь заметна семантическая особенность. Об этносах летописец обычно писал, обозначая их территориальную прикрепленность, постоянно указывая на их "сидение": "седше на которомъ месте" (5). В данном же отрывке летописец связал с этносами еще одно качество — простирание до неких границ: "Ляхове же, и пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому. По сему же морю седять варязи семо ко въстоку до предела Симова, по тому же морю седять къ западу до земле Агнянски и до Волошьски" (3—4).

Простирание до границ как качество обычно связывалось у летописца не с народами, а с землями, странами. Летописец много раз упоминал этот предметный признак земель: "землю Фрачьску и Макидоньску до же и до Селуня" (25, под 898 г.); "Вифиньскиа страны... по Понту до Ираклиа и до Фафлогоньски земли" (43, под 941 г.); "всточныя страны до моря" (227, под 1096 г.); и т.д. Так что в анализируемом отрывке о северных этносах летописец перенес на народности признак стран: каждый упомянутый народ — это как бы и страна. Однако летописец стремился вовсе не к образному изложению; понятия "народ" и "земля" он не разделял четко, для него существовал единый объект — "язык",— значительность которого летописец несколько усилил, указав два признака: где "сидит" "язык" и до каких границ.

Но в летописном повествовании бывало и по-другому, когда на данный объект переносились признаки действительно другого объекта, правда, делалось это очень косвенно. Например, летописец пересказал по "Хронике" Георгия Амартола историю Вавилонского столпа[3], отметив, что "есть останокъ его промежю Асюра и Вавилона",— "останок" столпа был сопоставлен со странами, к нему прилежащими. Летописец всегда соизмерял величины предмета, помещенного "межю" другими предметами. Так, в сообщении — "Глебу же убьену бывшю и повержену на брезе межи двема колодама" (134, под 1015 г.) — размеры человека и двух колод явно сопоставимы; в другом сообщении — "Кытанъ ста межи валома с вои" (219, под 1095 г.) — сопоставимы размеры отряда и валов; соответственно во фразе — "прибежа в пустыню межю Ляхы и Чехы"

(141, под 1019 г.) — сопоставлены более крупные объекты: страны и большая "пустыня" между ними; если же имелась в виду необозримо обширная пустыня, то необозримым становилось и ее окружение: "ищьли бо суть си отъ пустыня Етривьскыя межю встокомь и северомъ" (226, под 1096 г.). Отсюда ясно, что та же пропорция присутствовала в летописном рассказе о столпе; иначе говоря, на "останок" столпа, который "есть" "промежю Асюра и Вавилона", летописцем был перенесен признак стран — территориально-пространственная обширность. Это, скорее всего, пусть малое, но творчество самого летописца, так как в "Хронике" упоминание об остатке столпа служило лишь логическим обозначением координат: "И есть помежи Ассура и Вавилона в лета многа хранимъ останокъ его",— находится там-то и там-то. Однако и в летописном повествовании не было создано образа — настолько слабо в характеристику "останка" столпа добавился смысловой элемент о простирающейся стране. Летописец лишь несколько усилил значительность объекта, о котором рассказывал.

Иногда переносимый признак другого объекта обозначался немного явственный. Так, в рассказе о мести Ольги деревлянам летописец упомянул "яму велику и глубоку", куда сбросили деревлянское посольство (55, под 945 г.). То подразумевалась не просто яма: на нее был перенесен признак очень глубокого и отвесного обрыва, даже как бы *пропасти*. Летописец, во-первых, сказал, что киевляне, неся деревлян, "вринуша е в яму": употребил не обычный для таких мотивов в летописи глагол "ввергнути", а гораздо более редкий глагол "вринути", имевший оттенок бросания предмета куда-то глубоко с высоты. "Вринути" связывалось с обрывом. (О Перуне было сказано далее в летописи: "вринуша и́ в Днепръ" — с высокого берега — 114, под 989 г.). Во-вторых, летописец далее сказал о том, что, очевидно, к краю ямы "приникъши Ольга", обращаясь к сброшенным на дно деревлянам,— не нагнулась, но приникла, как к опасно отвесному обрыву. В-третьих, летописец закончил рассказ о мести деревлянам так: Ольга "повеле засыпати я живы, и посыпаша я": исполнители "посыпаша" деревлян, то есть находились высоко вверху над деревлянами. И снова видно, насколько слабо выражен в летописном рассказе признак обрыва или пропасти, исподволь добавленный к характеристике ямы. И тут летописец тоже лишь несколько усилил значительность исходного объекта, но цельного образа создавать и не думал.

Однажды в летописи к объекту были открыто прибавлены признаки другого объекта — в рассказе о походе Олега на Царьград: "И повеле Олегъ воемъ своимъ колеса изделати и воставити на колеса корабля. И бывшу покосну ветру, въспяша парусы, с поля и идяше къ граду" (29, под 907 г.). В этом отрывке не случайны все упоминаемые детали. На парусные корабли перенесены признаки су-

хопутных повозок, которые на колесах катятся по суше — "съ поля и идяше къ граду". Получилось что-то вроде стремительных вездеходов. Но сам летописец не развил этот возможный образ, он довольствовался только сюжетом рассказа, чтобы подчеркнуть хитроумие Олега.

В отдельных случаях летописец переносил на объект признаки нескольких других объектов. Например, в характеристике булгар летописец перенес на мусульман признаки сумасшедшего: "како ся покланяють в храме, рекше в ропати: стояще бес пояса; поклонився, сядеть и глядить семо и онамо, яко бешенъ; и несть веселья в нихъ, но печаль; и смрадъ великъ" (105—106, под 987 г.). Однако в этом отрывке летописец лишь один элемент прямо связал с сумасшедшим: "глядить семо и онамо, яко бешенъ". Остальные элементы не обязательно привлекались тоже как признаки сумасшедшего (странный в одежде и поведении, смурной, грязный); они могли отдавать чем-то чуждым, нехорошим (так и говорилось: "несть добръ законъ ихъ"). То есть двусмысленность облика персонажей, пожалуй, заметна у летописца в данном случае. Но это все-таки не образ. Двусмысленность облика персонажей как усилительное средство всегда входила в состав летописных характеристик иноверных или незнакомых народов.

Благодаря двусмысленности облика персонажей противоримский оттенок получил знаменитый рассказ апостола Андрея о словенах: "Видехъ бани древены, и пережьгуть я рамяно, и совлокуться, и будут нази, и облеются квасомъ уснияномь, и возмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами, и того ся добьють, едва слезуть ле живи, и облеются водою студеною, и тако оживуть" (7—8). Ряд деталей этого повествования связывался с мотивом о пытках: люди раздеты, огонь, "прутье", жидкости; битые еле живы. Ряд деталей смутно свидетельствовал о некомфортности, даже варварскости жизни словен: строения деревянные, помещения раскаленные, люди нагие, облитые квасом, да еще каким — из белены. Еще детали вводили мотив выносливости словен, закаляющих себя "по вся дни": бьют себя сами, обливаются ледяной водой. Признаки разных явлений, особенно мученичества, перенесены на словен так неясно, потому что рассказ летописца был посвящен не столько самим словенам, сколько загадке о них, которую Андрей задал несообразительным римлянам и сам же на нее ответил ("то творять мовенье собе, а не мученье").

Множественность переносимых признаков служила усилению мотива оборотничества, но не созданию именно образов летописных героев. Так, в повествовании под 1074 г. о нападении бесов на монаха Исакия бесы представали не в своем обличье, а в чужом, притом неприятном или отвратительном. Два беса явились в виде ангелов: "блистаста лице ею, акы солнце", но свет от них исходил вредоносный — "яко зракъ вынимая человеку" (187). Еще "единъ отъ бе-

совъ, глаголемый Христосъ" выглядел разухабистым гулякой, он предлагал: "Възмете сопели, бубны и гусли и ударяйте, атъ ны Исакий спляшеть". Затем бесы приходили к Исакию "яко се многъ народъ, с мотыками и лыскаре" (лопатами), потом — "въ образе медвежи, овогда же лютымъ зверемь, ово вълом, ово змие полозяху к нему, ово ли жабы, и мыши, и всякъ гадъ" (191). Калейдоскопическая смена обликов означала неустойчивость бесов: покажутся — "и тако ищезняху"; тем более что бесы являлись только ночью и превращались в ночную тьму: как говорил им Исакий, "вы есть тма, и во тме ходите, и тма вы ять". В броскости повествованию отказать нельзя, но разработкой образов летописец не занимался.

Одним из излюбленных летописцем способов усиления значительности было прямое столкновение объектов с противоположными качествами, видоизменявшее качество исходного объекта. Например, летописец рассказал о путешествии апостола Андрея по пути из Грек в Варяги: в частности, о том как, плывя вверх по Днепру, апостол "по приключаю приде и ста подъ горами на березе" (7). Эти "горы" (холмы) подразумевались пустынными, ибо летописец отметил, что путник остановился на ночлег лишь "по приключаю", то есть случайно, не у поселения. О самих "горах" летописец ничего не сказал, явно подразумевая "горы" безлюдными. Точно так же дальше в летописи ничего не сообщал летописец о "горах" под Киевом, если они были безлюдны: "поча ходити по дебремъ и по горамъ" (153, под 1051 г.), безлюдность таких ничем не характеризуемых "гор" косвенно подтвердил один из персонажей: "...хочю въ ону гору ити единъ, яко же и преже бяхъ обыклъ, уединивъся, жити" (154, под 1051 г.). О тех же, но уже заселенных "горах" летописец всегда что-то сообщал: "Седяше Кий на горе, иде же ныне увозъ Боричевъ" (8) и пр.

Но тут же эти пустынные и безлюдные "горы" предстали в совсем ином виде. Апостол обратился к своим ученикам: "Видите ли горы сия?" И объяснил, что же он там видит: "яко на сихъ горахъ восияеть благодать Божья, имать градъ великъ быти и церкви многи Богъ въздвигнути имать". То есть эти "горы" будут застроены и многолюдны. Столкновение двух взаимоисключающих качеств приводило к их слиянию в половинчатое качество, примиряющее противоположности. В данном случае будущее влияло на настоящее, и пустынные "горы" оказались уже не совершенно пустынными: в присутствии учеников Андрей провел церемонию благословения места будущего града и на одной из "гор" "постави кресть",— движение к постройке города как бы началось.

В летописи есть еще несколько рассказов с предсказаниями, и во всех их будущее влияло на настоящее. Например, под 1096 г. говорилось о том, что где-то далеко на севере в горах плотно затворены "сквернии языци", но они, по предсказанию, выйдут из гор "в по-

следняя же дни" (228). И будущее уже действует: они "секуть гору, хотяще высечися, и в горе той просечено оконце мало" (227) — проникновение началось.

Семантически это был не перенос предметного признака другого объекта на данный объект, а лишь способ впечатляющей материализации невидимого объекта в видимый. Вот пример гораздо более осязаемой материализации — описание одного из "знамений": "...въ Иерусалиме случися внезапу по всему граду за 40 дний являтися на вздусе на конихъ рищющимъ, въ оружьи, златы имущемъ одежа, и полкы обоявляемы, и оружьемъ двизающимся" (160, под 1065 г.). На нечто эфемерное ("являтися"), бесформенное, не имеющее названия, перенесены признаки материального войска — построившиеся полки ("обоявляемы"), в сверкающих доспехах ("златы одежа"), скачущие на конях ("рищющимъ"), угрожающие оружием ("оружьемъ двизающимся"). В результае, призрачное ("на вздусе") все больше становится материальным (распространяется "по всему граду"), кратковременное ("случися внезапу") — постоянным ("40 дний").

Данный рассказ был заимствован летописцем из недошедшего до нас переводного "Хронографа", но, как показывает повествование о разных знамениях в этом месте летописи, летописец не механически переписал свой источник. Вот аналогичный рассказ, уже, несомненно, созданный самим летописцем: "Предивно бысть в Полотьске, въ мечте бываше: в нощи тутънъ станяше; по улици, яко человеци, рищюще беси. Аще кто вылезяше ис хоромины, хотя видети, абье уязвенъ будяше невидимо отъ бесовъ язвою... Посемъ же начаша в дне являтися на конихъ, и не бе ихъ видети самехъ, но конь ихъ видети копыта" (207—208, под 1092 г.),— невидимое и бесформенное понемногу материализуется во всадников с оружием, которые с топотом рыщут на конях, всюду оставляют следы, ранят встречных людей и вот-вот станут видны целиком: недаром "человеци глаголаху, яко навье бьють полочаны", то есть "бесы" должны выглядеть, как мертвецы (ср. ранее: действующие среди людей "беси... суть бо немощни и худи взоромь" — 174, под 1071 г.).

Невидимое так и не становилось полностью видимым, однако проявляло себя материально. Например, в летописи рассказывалось, что один из монахов, взглянув на братью, поющую в церкви, "виде обиходяща беса въ образе ляха, в луде, и носяща в приполе цветкы, иже глаголется лепокъ. И обиходя подле братью, взимая из лона лепокъ, вержаше на кого-любо. Аще прилняше кому цветокъ в поющихъ отъ братья, мало постоявъ и раслабленъ умомъ, вину створь каку-любо, изидяше ис церкви, шедъ в келью, и усняше, и не възвратяшется в церковь до отпетья" (184—185, под 1074 г.). Цветки, которые этот лях-бес вынимал из своего "лона", были невидимы (их видел только один монах), но прилипчивы ("прилняше") и

дурманящи (от них человек делался "раслабленъ умомъ... и усняше").

Все это не образы, плод слияния двух разных объектов в один, а лишь накопление элементов изобразительности для усиления значительности объектов фантасмагорических, находящихся на грани реального и нереального.

В единичных случаях заметно у летописца столкновение одного объекта даже с несколькими объектами, противоположными исходному в каких-то отношениях. В результате у исходного объекта появлялась целая серия новых качеств, промежуточных между противоположностями. Так, в уже упоминавшемся рассказе под 1074 г. о монахе Исакии на живого человека были перенесены признаки мертвеца ("взяша й, мертва мняще, и, вынесше, положиша" — 187–188); мертвеца обмывают, он не ест и пр. ("омываше и спряташеть й; за 2 лета лежа, си ни хлеба не вкуси, ни воды, ни овоща, ни отъ какого брашна, ни языкомъ проглагола, но немъ и глухъ лежа за два лета" — 188); у мертвеца заводятся черви ("многажды и червье въкыняхуся подъ бедру ему"). Благодаря столкновению противоположных качеств — персонаж живой и мертвый — летописец изобразил полумертвеца, плохо двигающегося ("раслабленъ теломь, ако не мощи ему обратитися на другую страну, ни встати, ни седети, но лежаще на единой стороне") и почти нечувствительного ни к холоду, ни к жару ("примерзняшета нозе его к камени, и не движаше ногама" — 189; "ногама босыма ста на пламени" — 190). Путем столкновения других противоположностей — человек взрослый и младенец — летописец описал нечто вроде идиота, плохо что соображающего ("подъ ся поливаше, ...на ногы нача встаяти, акы младенець, ...положаху пред ним хлебъ, и не възмяше его, но ли вложити в руце ему", только потом "научися ясти" — 188–189). Наконец, на Исакия были перенесены и черты неживой куклы, которой управляют (бесы "начаша имъ играти" — 189) и которой даже ворон не боится ("шедъ, я ворона и принесе" — 190), отсюда непредсказуемость юродивого. Мотив необычности, странности, ненормальности героя достаточно выражен в летописном рассказе, но единого образа на этот раз нет уже из-за неотчетливости слияния разных объектов в одно целое.

В прочих случаях объекты противопоставлялись, чтобы усилить впечатление от одного из объектов, но признаки с объекта на объект летописец не переносил. Например, в том же рассказе об Исакии взаимоисключающими представали обстоятельства, в которых развертывалось действие. С одной стороны, Исакий физически стеснен ("одра мехомъ козелъ, и възвлече на власяницю, и осше около его кожа сыра" — 186); келья Исакия исключительно мала, тесна ("затворися в печере... в кельици мале, яко четырь лакоть", с "оконцемъ, яко ся вместяше рука", Исакий в этой тесноте "на ребрехъ не

легавъ", но только стоял или "седяше на седале своемъ" — 186—187); там темно ("на светъ не вылазя" и даже "свещю угасившю"). Эта пещерная, подземная кельица смутно напоминала то ли узкий колодец, то ли четырехлокотный гроб. И вдруг она превратилась в нечто вроде светлого, обширного, многолюдного, шумного зала: "внезапу светъ восья, яко отъ солнца, в печере", "поидоста 2 уноши", а за ними бесы "начаша садитися" около Исакия, "и бысть полна келья их", "и удариша в сопели, и в гусли, и в бубны", и заставили Исакия плясать — где только место нашлось. Благодаря контрасту ярче выглядит превращение, его внезапность.

В рассказе о том, как обры запрягали дулебских женщин в телегу вместо коня или вола летописец тоже вовсе не переносил признаки коней на женщин, а только противопоставил эти объекты ("не... коня, ни вола, но... женъ" — 11), отчего угнетение людей обострилось до мучительства ("насилье творяху женамъ дулебьскимъ... мучаху дулебы").

Поиски художественных образов в летописи приводят к следующему выводу. Летописец заботился об изобразительности своего повествования, чтобы усилить ощущение значительности объектов, в общем, подчеркнуть качества объектов, но объекты не сливал друг с другом в некие образные "кентавры", как это стало обычным в позднейшей литературе. Перед нами элементы изобразительности, но дообразное, то есть архаическое литературное творчество.

2. Семантика характеристик

Тип литературного творчества летописца можно определить и на ином материале — по характеристикам внешности летописных персонажей.

Летопись не содержала литературных портретов[4]. Летописец не выделял внешность человека как самостоятельную категорию и не пользовался соответствующей обобщающей терминологией. Слова, которые мы сейчас готовы принять за обозначение статичной внешности, имели у летописца иной смысл. Например, слово "взоръ", которое нам кажется уместным перевести нашими современными понятиями "облик, вид", больше обозначали у летописца факт глядения героя на окружающих или же — глядение окружающих на героя. Так, греки наставляли своего посла к Святославу: "Глядай взора", то есть: следи за его взглядом, на что и как смотрит Святослав; ведь греки хотели узнать, к каким подаркам князь "любьзнивъ"; далее и сообщалось, что они положили перед ним дары, но Святославъ "кроме зря"; и греки потом жаловались: "вдахомъ дары, и не возре на ня" (69, под 971 г.). Так что слово "взоръ" в данном рассказе было связано с глаголами "зрети, воззрети" и означало "взор, зре-

ние, глядение, смотрение" Святослава, а не его внешность, облик, вид отдельно от его действий.

Когда же в летописи говорилось, каковы персонажи "взоромъ", то тоже подразумевалось не столько их внешность сама по себе, сколько глядение на них со стороны окружающих людей. Недаром в летописи использовалось производное от существительного "взоръ" прилагательное "взоренъ" (заметный, хорошо смотрящийся со стороны: "взоренъ бываеть во вратехъ мужь" — 79, под 980 г.); форма "взоромъ" недаром заменялась в списках словом "въззоромъ" (то есть: воззрением — 196, под 1078 г., примечание 6) или пояснялась словом "видение" (например, бесы "худи взоромь", то есть "скверни и зли в видении" — 174, под 1071 г., и 192, под 1074 г.).

Другое слово — "образъ",— которое нам может показаться полноценным обозначением внешности, тоже таковым не являлось в летописи, а больше указывало на некое действие, на "виденье" кого-то со стороны ("въ образе Феодосьеве... виденье виделъ" — 184, под 1074 г.); "образъ" — это есть то более, то менее приемлемое зрителем "виденье", каков персонаж ("въ образе Исус Христове и въ ангельстемь недостойни суще того виденья" — 191, под 1074 г.), нередко ввод зрителей в "мечтанье" принятием персонажами не своего, подлинного, а чужого, ложного облика ("пременяше во иного образъ, в мечтаньи сице творяше" — 175, под 1074 г.), или принятием временного, быстро сменявшегося обманного вида ("творяще в мечте... въ образе медвежи, овогда же лютымъ зверемь, ово въломъ, ово змие полозяху к нему, ово ли жабы, и мыши, и всякъ гадъ" — 191, под 1074 г.); иногда слово "образъ" обозначало отличительную для зрителей окрашенность персонажа ("образомъ черни" — 174, под 1071 г.), иногда — одежду ("възложилъ образъ мнишьский"), но тут же — и поведение ("научивъ чернечьскому образу" — 152, под 1051 г.). Если же имелся в виду облик более стойкий, то употреблялось слово "зракъ" ("приимъ рабий зракъ истиною, а не мечтаньемь" — 110, под 986 г.; "Духъ сходящь зракомъ голубинымъ" — 101, под 986 г.), однако тут слово "зракъ" больше относилось к божественной сущности видимого зрителями, а не собственно ко внешности персонажа.

В общем, летописец не употреблял слов для специального обозначения внешности потому что такой общей категорией не мыслил. Оттого понятие красоты, которое у нас обычно относится ко всей внешности человека, летописец связывал только с отдельной его частью, как правило, с лицом ("красоты ради лица ея" — 74, под 977 г.; "красенъ лицемъ" — 80, под 983 г., и 162, под 1066 г.). Если же летописец высказывался о красоте персонажа более общо, то и в этих случаях он имел в виду все-таки отдельные красивые детали, а не внешность в целом. Например: "поидоста 2 уноши к нему красна, и блистаста лице ею, акы солнце" (187, под 1074 г.),— яс-

но, что речь шла опять-таки о красивых лицах. Или: "Дасть Бохмить комуждо по семидесять жень красныхъ, исбереть едину красну, и всехъ красоту възложить на едину" (83, под 986 г.),— это место означало, что у семидесяти женщин берутся разные красивые элементы и инкрустируются в одну, а не то, чтобы внешность всех женщин накладывалась одна на другую. Летописец мыслил об элементах, а не о целом. Когда же летописец давал совсем общую характеристику вроде бы внешности человека ("отроча красно" — 92, под 986 г.; "взоромъ красенъ" — 193 и 196, под 1078 г.), то на этот раз оказывалось, что летописец подразумевал, пожалуй, нечто более широкое и расплывчатое, нежели только внешность,— благоприятное впечатление от всего человека: "бысть отроча красно, и бысть летъ 4" — милый возраст, нельзя не "любити отроча".

Об отсутствии у летописца стремления к изображению цельной внешности человека свидетельствуют сравнительно подробные летописные характеристики персонажей, очень немногочисленные. Описаний, перечисляющих сразу несколько внешних черт персонажей, буквально единицы, и все они указывают лишь отдельные частности, притом только тогда, когда те, обращают внимание своей необычностью — величиной, цветом, ущербностью и пр. Поэтому в летописи есть характеристики людей, вообще не упоминающие физических деталей, которые, очевидно, ничем и не выделялись и, напротив, преобладает множество коротких замечаний о необычности качества того или иного телесного элемента или физической черты у человека: "высокъ теломъ" (202, под 1089 г.); "превеликъ зело" (121, под 992 г.); "черево твое толъстое" (139, под 1018 г.); "перереза ему лице, и есть рана та на Василке и ныне" (251, под 1097 г.); "язвено на главе его" (151, под 1044 г.); и мн. др. Летописец во всех случаях мыслил не целым, а фрагментами и к обобщающему представлению о внешности персонажей не приближался ни при упоминаниях частей тела, ни при упоминаниях одежды и обуви. У нормального человека обычно в той или иной форме упоминались тело и лицо. Например, Мстислав: "дебелъ теломь, черменъ лицемъ, великыма очима" (146–147, под 1036 г.); Ростислав: "взрастомь же лепъ и красенъ лицемь" (102, под 1066 г.). У мучающихся персонажей дополнительно к телу и лицу упоминались ноги: "опустневше лици, почерневше телесы, ..ногы имуще сбодены..." (217, под 1093 г.); "расслабленъ теломь, ... червье въкыняхуся подъ бедру ему" (188, под 1074 г.). У погубляемых ("кладущих главу"), естественно, упоминалась глава: "гвозди железныи посреди главы вьбивахуть имъ" (43, под 941 г.); "взяша главу его и во лбе его съделаша чашю" (72, под 971 г.); "усекнуша главу его" (131, под 1015 г.); и др. У уродов и уродливых существ упоминался хвост или что-то вроде хвоста: "безъ очью и без руку, в чересла бе ему рыбий хвосъ прирослъ"; "на лици ему срамнии удове" (161, 160, под

1065 г.); "образомъ черни, крилаты, хвосты имуще" (174, под 1071 г.). Но обязательность определенных деталей по типам персонажей не соблюдалась.

Фрагментарность или дробность характеристик выражалась еще в том, что каждый элемент внешности быстро подключался к действию, к сюжету рассказа, но не к другим элементам внешности. Упоминаемый элемент внешности вводил в ситуацию вокруг персонажа, в частности, указывал на впечатление окружающих людей. Например, печенежский борец "бе бо превеликъ зело и страшенъ" (121, под 992 г.) — страшен для окружающих своей "превеликостью" (ср.: "спаде превеликъ змий отъ небесе, и ужасошася вси людье" — 207, под 1091 г.; ужаснулись из-за его "превеликости", от маленькой змеи не ужасались). Элементы внешности были связаны и с иными воздействиями персонажа вовне. Например: "бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ, яко и на кони не могы седети" (139, под 1018 г.) — тяжело коню из-за "великости" седока; "бе бо великъ и силенъ Редедя" — трудно с ним бороться (143, под 1022 г.); Всеслав: "бысть ему язвено на главе его... сего ради немилостивъ есть на кровьпролитье" (151, под 1044 г.). Элементы внешности обозначали также святость персонажа в мире, приведем только одни пример из многих: Ольгу "вси человеци прославляють, видяще лежащю в теле на многа лета" (67, под 969 г.), нетленность тела — признак святости. Элементы внешности персонажа служили и знамением будущего для страны. Виды одежды упоминались всегда только как знак социальной ситуации, определенной общественной церемонии; и т.д.

Фрагментарность или дробность характеристик особенно проявилась в несвязывании летописцем внешнего и внутреннего у персонажей. Внешние и внутренние черты персонажей перечислялись летописцем как равноправные, не зависящие друг от друга качества, внешнее не связывалось причинной связью с внутренним, внутреннее и внешнее одинаково действовали вовне. Вот пример: "теломъ велици и умомъ горди" (11) — телом велики не оттого, что умом горды, и горды не оттого, что велики; но обры, запрягавшие дулебских женщин в телегу, мучили дулебов и своим телом (тяжело возить) и свои умом (унижали). Или: "красенъ лицемъ и душею" (80, под 983 г.) — и то, и другое суть взаимонезависимые данности, одинаковые по производимому впечатлению. Отдельные высказывания, которые, на наш современный взгляд, все-таки отражают связь внутреннего и внешнего, на самом деле такой связи не содержали. Так, наставление византийскому послу, направляемому с дарами к Святославу, можно расценить как совет догадываться о настроении князя по выражению его лица: "Глядай взора, и лица его, и смысла его" (69, под 971 г.); на самом же деле речь шла лишь о действиях Святослава вовне: "Примечай, на что смотрит, куда обращает лицо,

к чему его устремление" (слово "смыслъ" в летописи означало "устремление, тип действий": "Каиновъ смыслъ приимъ" — 129, под 1015 г.; "нача любити смыслъ уныхъ" — 209, под 1093 г.; "въсприимъ смыслъ буй" — 222, под 1096 г.; соответственно прилагательное "смыслении" имело оттенок "деловой, деятельный", поэтому естественным являлось противопоставление: "Бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ..., но бяше смысленъ" — хотя был велик и тяжел, но был подвижен, энергичен, первым "въбреде в реку, и по немь вои его" — 140, под 1018 г.).

В характеристиках летописных персонажей иногда повторялись *пары качеств, одно внешнее, другое внутреннее*. Крупен и воинствен: "дебелъ теломь, ... хоборъ на рати" (146–147, под 1036 г.); "ратенъ, взрастомь же лепъ" (162, под 1066 г.). Красив и добр: "черменъ лицемъ, ... милостивъ" (147); "красенъ лицемъ и милостивъ убогымъ, ... взоромъ красенъ" (193, под 1078 г.); "взоромъ красенъ, ... незлобивъ нравом" (196, под 1078 г.). Однако это были традиционно повторяемые то рядом, то отдельно друг от друга элементы характеристик, а не причинно-следственные пары, основанные на связи внешнего и внутреннего у человека.

В условиях фрагментарности элементы внешности даже сами по себе отличались своеобразной деловитостью смысла в характеристиках персонажей. Элемент внешности мог одновременно обозначать и то, из чего сделан объект. Например, когда летописец описывал "Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ" (77, под 980 г.), имелось в виду не только то, как выглядел Перун, но и то, что тело Перуна сделано было из дерева, голова — из серебра, а усы — из золота (ср. далее именно о материале, из которого изготовлены идолы: "начаша кумиры творити, ови древяны, ови медяны, а друзии мрамаряны, а иные златы и сребрены" — 89, под 986 г.). Или, например, в рассказе о приходе княгини Ольги к византийском императору, который "видевъ ю добру сущю зело лицемъ и смыслену" (59, под 955 г.), словосочетание "добра лицемъ" (а не "красна лицемъ") указывало не столько на внешность и красоту Ольги (после ее замужества, судя по датам летописи, прошло 52 года), сколько на ее доброликость, то есть приятность, обходительность, воспитанность, согласующуюся с ее "смысленностью" (смышленностью-опытностью-тактичностью). Недаром, как тут же сказано, "удививъся царь разуму ея", а вовсе не красоте. Лицо упомянуто, но, пожалуй, не как полноценная реалия; подобное словоупотребление для летописи не было редкостью (ср.: "едино Божество в трехъ лицахъ" — 110, под 988 г.; "страхъ нападе на ня и трепетъ отъ лица русскихъ вой" — 268, под 1103 г.; и др.).

Фрагментарность характеристик неизбежно приводила к мозаичности действий героев. Летописные герои в характеристиках представали исключительно деятельными[5]. Если летописец перечислял толь-

ко внутренние качества персонажей, то и тогда имел в виду их действие вовне — активные ("братолюбивъ", "милостивъ убогымъ" и т.д.), менее активные ("молчаливъ", "тихъ" и пр.), направленные персонажами иногда на самих себя ("въздержася отъ пьяньства и отъ похоти"), но всегда действия. Чувства и замыслы считались приходящими снаружи на человека[6]. Думание или чувство персонажа тут же переходило в действие, в том числе любовь: "Но обаче любяше Ольга сына своего Святослава, ... моляшеся за сына и за люди по вся нощи и дни, кормящи сына своего до мужьства его" (62—63, под 955 г.); "любяше дружину по велику, именья не щадяше" (147, под 1036 г.); "излиха же любяше черноризци и подаяше требованье имъ" (209); и др. Физиологическое состояние персонажа тоже сопровождалось действиями: Владимир "бе несыть блуда, приводя к себе мужьски жены и девице растьляя" (78, под 980 г.); еще слабый ребенок Святослав смог перебросить копье лишь "сквозе уши коневи" (56, под 946 г.); впавшие в болезнь сразу же умирали; и т.п. Герои, пребывавшие в пассивном положении, тоже оказывались в деле: с живостью принимали великие почести или дары; делали гораздо больше того, к чему их побуждали, или энергично сопротивлялись нажиму; если тянули с принятием решения, то занимаясь различного рода испытаниями. Бесноватые доходили до крайней степени беснования и юродства. Все сводилось к мозаике деяний.

В разных эпизодах и обстоятельствах один и тот же персонаж мог быть изображен существенно иным, без обязательной для нас связи его прежних и новоявленных черт. Поэтому, например, Олег вдруг потерял присущее ему хитроумие, опасливый Игорь внезапно забыл об осторожности, коварная Ольга поле крещения превратилась в кроткую и беззащитную бабушку, не любивший Киева Святослав неожиданно возлюбил Русскую землю, Владимир после принятия христианства стал вялым в воинских и государственных делах, и т.д. и т.п.[7]. Деятельность героев простиралась до определенных пространственных границ, преграждаясь деятельностью других героев и договорами о "пределах" деятельности каждой из сторон. Лишь окаянные персонажи беспредельны, пока их не остановит смерть. Посмертные характеристики героев в летописи относились не ко всей их жизни, а преимущественно к последним их годам.

Мозаичность[8] сохранялась у летописца и при описании составных веществ человека: "створилъ Богъ человека отъ земле, ставленъ костьми и жылами отъ крове, несть в немъ ничто же" сверх того (171—172, под 1071 г.) — человек представлен чем-то вроде творимого склада предметов и веществ, но не в виде цельного организма, как принято его осмысливать сейчас. То же мозаичное деловое накопление качеств содержали характеристики летописных героев по типам людей: одни качества и деяния перечислялись у "блаженных"

и "благоверных" героев, другие — у воинственных, третьи — у "неистовиих" и "окаянных", и т.д.

Дробность и мозаичность характеристик и вообще элементов изобразительности — проявления архаического литературного творчества летописца[9]. Но это не мелкость. Солидность, монументальность (используя термин Д.С.Лихачева), простота крупных целей — основа архаики: элементы изобразительности — для усиления значительности повествования, элементы внешности — для развития действия в повествовании[10].

3. Семантика перечислений

Летописец в "Повести временных лет" постоянно перечислял составные части того или иного целого, того или иного явления. Особенность летописного изложения такова: в перечнях на одну и ту же тему летописец упорно повторял один и тот же первый элемент, а прочие перечисляемые элементы обычно не имели устойчивого места. Рассмотрим эту особенность по темам перечислений, начиная с тем широких. Так, когда летописец перечислял стороны света, то первым, как правило, он указывал восток. Летопись начата рассказом о разделе Земли между сыновьями Ноя: "разделиша Землю... И яся въстокъ Симови... Хамови же яся полуденьная страна... Афету же яшася полунощныя страны и западныя" (1–2). Рассказ о разделе Земли заимствован летописцем из "Хроники" Георгия Амартола и из какого-то недошедшего "Хронографа"[11], но скорее всего, именно летописец ввел перечисление сведений по сторонам света и при этом первым назвал восток. Такой же порядок перечисления летописец повторил, обозревая Землю при потомках сыновей Ноя: "прияша сынове Симови въсточныя страны, а Хамови сынове — полуденьныя страны, Афетови же — прияша западъ и полунощныя страны" (5); восток был упомянут первым при упоминании легендарной пустыни: "пустыня Етривьскыя межю встокомь и северомъ" (226, под 1096 г.; географическое уточнение тоже принадлежало летописцу[12]); восток упоминался первым и при перечислениях сторон света по иным поводам, например, при описании небосвода: "бысть знаменье на небеси... акы пожарная заря отъ въстока, и уга, и запада, и севера" (266, под 1102 г.); при обозрении территории варягов: "по сему же морю седять варязи семо ко въстоку..., по тому же морю седять къ западу..." (3).

Летописец называл восток первым в своих перечислениях сторон света, скорее всего, потому, что считал восток главной стороной света. Хотя о главенстве востока летописец специально не рассуждал, но косвенно, пожалуй, выразил этот принцип мироописания, включив в летопись так называемую "Речь философа", где неоднократно напоминалось о связи именно востока с важными библейскими собы-

тиями: во-первых, "насади Богъ рай на въстоце"; во-вторых, при рождении Иисуса Христа «волъсви придоша отъ въстока, глаголюще: "...Видехомъ бо звезду его на въстоце..."»; в-третьих, сам Господь обозначил все пространство Земли, начав с востока: «Тако глаголетъ Господь: "...отъ въстока и до запада имя мое прославися..."» (86, 100, 96, под 986 г.).

Остальные стороны света не имели определенного места в летописных перечислениях. Таким образом, можно предположить, что литературным принципом летописца было: первым указать главное, а прочее уже не так важно.

Многие перечисления подтверждают, что летописец придерживался именно такого принципа изложения. Так, первым элементом в космогонических перечислениях у летописца выступало небо: "Богъ... створилъ небо, и землю, и звезды, и луну, и солнце, и человека" (81, под 983 г.); "створилъ небо, и землю, звезды, месяць и всяко дыханье" (83, под 986 г.); "створи небеса, землю, море, вся видимая и невидимая" (89, под 986 г.).Но вот перечисления уже не о мироздании: "знаменья бо въ небеси, или звездахъ, ли солнци, ли птицами, ли етеромь чимь не на благо бываютъ" (161, под 1065 г.); и даже не перечень, а перечислительный рассказ развивался в той же последовательности упоминаний: "бысть знаменье на небеси, ... в луне, ... в солнци.." (266, под 1102 г.); и т.д. Небо упоминалось первым, потому что летописец считал его главным космогоническим элементом, опять-таки опираясь на Библию и ссылаясь на то, что первым было сотворено небо ("искони бо створи Богъ небо, тоже землю" — 112, под 988 г.), что небо особенно почтено ("Богъ есть на небеси, седяй на престоле" — 172, под 1071 г.), что царство небесное сравнительно с прочими имеет "красоту неизреченьну" (103, под 986 г.). Остальные элементы не занимали устойчивого места в перечислениях, то есть летописец и тут следовал литературному принципу — первым называть главное.

Рассмотрим летописные перечисления на различные исторические темы и литературную манеру летописца, в них отразившуюся. В перечислениях на историко-этнические темы летописец также повторял первые элементы. Если речь шла о славянских племенах, то первыми указывались поляне: "словенескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне, ноугородьци, полочане, дреговичи, северъ, бужане" (10); "и живяху в мире поляне, и деревляне, и северъ, и радимичи, вятичи, и хорвате" (12); "держати почаша... княженье в поляхъ, а в деревляхъ — свое, а дреговичи — свое, а словени — свое в Новегороде, а другое — на Полоте, иже полочане" (9); дань "козари имаху на полянехъ, и на северехъ, и на вятичехъ" (18, под 859 г.); "и бе обладая Олегъ поляны, и деревляны, и северяны, и радимичи" (23—24, под 885 г.). Соответственно в перечислительных рассказах о племенах первыми также назывались поляне: племена "имяху бо обычаи

свои..., кождо свой нравъ. Поляне бо своихъ отець обычай имуть кротокъ... А древляне живяху звериньскимъ образомъ... И радимичи, и вятичи, и северъ одинъ обычай имяху... Си же творяху обычая кривичи и прочии погании..." (12–13). Поляне в рассказах первые, потому что они главные для летописца. Предпочтение полянам летописец ясно выразил уже в начале летописи — они идеальные "мужи мудри и смыслени" (9).

Когда же летописец говорил о, так сказать, международных объединениях, то перечень открывали обычно варяги: "Афетово бо и то колено: варязи, свеи, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне, немци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии" (4); "звахуся варязи русь, яко се друзии зовутся свие, друзии же — урмане, анъгляне, друзии — гъте" (18–19, под 862 г.); "поимъ воя многи: варяги, чюдь, словени, мерю, весь, кривичи" (22, под 882 г.); и мн. др. Варяги в перечислениях первые, потому что они самые важные для летописца: ведь "отъ техъ варягъ прозвася Руская земля" (19, под 862 г.) — эту мысль летописец подчеркивал неоднократно.

При перечислении социального состава общества, управляемого князем, летописец первыми называл бояр, однако место остальных слоев не закреплял четко: "съзываше боляры своя, и посадникы, старейшины по всемъ градомъ, и люди многы... и приходити болярОмъ, и гридемъ, и съцьскымъ, и десяцьскымъ, и нарочитымъ мужемъ" (122–123, под 996 г.); "созва... боляры своя и старци градьские... И реша бояре и старци" (104, под 987 г.); "созва болярь и кыянъ... И реша боляре и людье" (250, под 1097 г.); и т.д. При церковной характеристике общества первыми чаще всего указывались епископы: "въздая честь епископомъ и презвутеромъ, излиха же любяше черноризци... И собрашася епископи, и игумени, и черноризьци, и попове, и боляре, и простии людье" (209–210, под 1093 г.); "предъ епископы, и предъ игумены, и предъ мужи отець нашихъ, и предъ людми градьскыми" (222, под 1096 г.); даже о чужой стране: "в земли Лядьске... епископы, и попы, и бояры своя" (146, под 1030 г.).

Историческое прошлое как собрание умерших людей также имело свою последовательность перечислений у летописца — первыми упоминались "отцы": "землю отець своихъ и дедъ своихъ" (157, под 1054 г.); "отци ваши и деди ваши" (254, под 1097 г.); "по устроенью отьню и дедню" (124, под 996 г.); "на столе отьни и дедни" (139, под 1016 г.); и мн. др. Первенство отцов перед дедами было безусловным в летописи. Отцы упоминались часто, притом и без дедов: следовали обычаям, законам и заповедям именно отцов и наследовали именно отцам; деды же упоминались в летописи довольно редко и всегда в сопровождении отцов как подкрепление отцам. Отцы важнее дедов у летописца. Есть только два исключения в последовательности перечислений: один раз Владимир Святославич упо-

минает "дедъ мой и отецъ мой" (124, под 996 г.), и другой раз Владимир Всеволодович Мономах отмечает, что "сего не бывало есть в Русьской земьли ни при дедехъ нашихъ, ни при отцихъ нашихъ, сякого зла" (252, под 1097 г.). Оба упоминания сначала дедов, а потом отцов в речах князей выглядят случайными отступлениями от правила, потому что тут же в этих же летописных статьях обычная последовательность восстанавливается, в том числе и в речи Владимира Мономаха. Так что нет оснований сомневаться в значимости летописных отцов для летописца.

В перечислениях на различные исторические темы летописец выдерживал один и тот же литературный принцип: первым называл главное и только главному уделял особое внимание.

Рассмотрим перечисления, относившиеся к быту, к обыденной жизни. Так, человек как единство телесного и духовного получал в летописных перечнях характеристику, начиная, как правило, с тела: "теломъ велици и умомь горди" (11); "съвкуплена телома, паче же душама" (134, под 1015 г.); "погыбе теломь и душею" (176, под 1071 г.); "дебелъ теломь, черменъ лицемъ, великыма очима, хоборъ на рати, милостивъ" (146—147, под 1036 г.); иногда первым упоминалось лицо: "добру сущю зело лицемъ и смыслену" (59, под 955 г.); "красенъ лицемъ и душею" (80, под 983 г.); иногда первым указывался "взоръ": "глядай взора, и лица его, и смысла его" (69, под 971 г.); "взоромъ красенъ, и теломъ великъ, незлобивъ нравомъ" (196, под 1078 г.). Так или иначе, но перечислительные характеристики персонажей в летописи почти всегда начинались с физических элементов (если те вообще присутствовали в характеристике).

Первенство физического, телесного в летописных перечислениях объясняется преобладающей в летописи "плотской" тематикой, в том смысле, что летописец больше рассказывал о внешних, физических деяниях людей и лишь изредка говорил об их душе, "сердце" или уме. Поэтому и летописные некрологи князьям обычно тоже первыми поминали телесные черты или просто тело князя, а уж потом переходили к его внутренним свойствам. Даже о Владимире Крестителе летописец повествовал в этой последовательности: "...схраниша тело его с плачемь, блаженаго князя... Аще бо и бе преже на скверньную похоть желая, но после же прилежа к покаянью..." (128, под 1015 г.) — тело упомянуто перед характеристикой морального облика. То же, например, о Ярополке Изяславиче в некрологе: "...спрятавше тело его... Такъ бяше блаженый сь князь тихъ, кротъкъ, смеренъ и братолюбивъ..." (200, под 1086 г.) — сначала упомянуто тело. Среди летописных перечислений встречаются только два исключения, когда первой указывается душа, а потом тело: в обоих случаях это выражение "радовашеся душею и теломъ" (59, под 955 г.; 122, под 996 г.). Подобная перемена последователь-

ности упоминаний, возможно, не была случайной на этот раз, так как летописец сообщал о великих благочестивых событиях — крещении Ольги и первом праздновании в Киеве праздника успения Богородицы. Подобным же образом летописец нарушал обычную последовательность упоминаний, когда составлял некрологические похвалы личностям, безусловно христиански совершенным с его точки зрения,— тогда первой он упоминал душу человека (или его душевные качества) и лишь потом тело. Например, так поведал о Ярославе Владимировиче Мудром: "Ярославу же приспе конець житья, и предасть душю свою Богу... Всеволодъ же спрята тело отца своего..." (158, под 1054 г.); или же о его внуке очень набожном Глебе Святославиче: "Бе же Глебъ милостивъ убогымъ и страннолюбивъ, тщанье имея к церквамъ, теплъ на веру и кротокъ, взоромъ красенъ, его же тело положено бысть Чернигове..." (193, под 1078 г.) — сначала о духовном, потом о телесном. Однако первенство души и духовного обозначено в летописи по поводу лишь нескольких идеальных лиц, в большинстве же летописных рассказов первенствовало тело.

При перечислении пищи или съестных припасов первым упоминался хлеб: "хлебъ, и вино, и мясо, и рыбы, и овощь" (30, под 907 г.); "хлебы, мяса, рыбы, овощь розноличный, медъ въ бчелкахъ, а въ другыхъ квасъ" (123, под 996 г.); "ни хлеба не вкуси, ни воды, ни овоща, ни отъ какаго брашна" (188, под 1074 г.); "ядый хлебъ сухъ, и то чересъ день, и воды в меру вкушая" (153, под 1051 г.); и др. Хлеб, конечно, считался главным продуктом в летописи; он, так сказать, олицетворял собою даже всю пищу, что видно, например, по высказыванию о времени, когда "приспевшю вкушенью хлеба" (187, под 1074 г.) — имелся в виду, конечно, не только один хлеб; хлеб обозначал и вообще всякое довольствие, судя по жалобе одного из князей в летописи: "Се бо мя выгнал из города отца моего; а ты ли ми зде хлеба моего же не хощеши дати?" (228—229, под 1096 г.; ср. в летописи цитату из Псалтыри: "Яко же Давыдъ глаголеть: ядый хлеб мой възвеличилъ есть на мя лесть" — 75, под 980 г.).

При перечислении воинского снаряжения первым указывалось "оружье": "покладоша оружье свое, и щиты, и золото,... изоделися суть оружьемъ и порты" (53, под 945 г.); "на оружьи и на конихъ" (124, под 996 г.); "оружье и кони" (166, под 1068 г.); главенство "оружья" благосклонно подчеркивалось летописцем в рассказе о Святославе, который "именья не брежеть, а оружье емлеть" (70, под 971 г.), и даже в перечислении с переносным смыслом: "укрепивъся оружьемь крестнымь и верою непобедимою" (207, под 1091 г.).

При перечислении даней, даров, трофеев, украшений и всяческих богатств первым фигурировало злато: "неся злато, и паволокы, и

овощи, и вина, и всякое узорочье" (31, под 907 г.); "богатество: злато много, и паволоки, и каменье драгое, и страсти Господня, и венець, и гвоздие..." (37, под 912 г.); "дары многи: злато и сребро, паволоки и съсуды различныя" (60, под 955 г.); "бещисленое множьство злата и сребра, кунами и белью" (167, под 1068 г.); и т.д. и т.п. Главенство злата было само собой разумеющимся у летописца.

В общем, перечисления на темы материально-бытовые подчинялись тому же литературному принципу у летописца: прежде всего обозначить главное, а об остальном — сказать как придется.

Перечисления на этические темы демонстрируют ту же закономерность. Из положительных государственных и общественных состояний важнее всех считался мир: "не преступити намъ... мира и любви" (37, под 912 г.); "имети миръ и свершену любовь" (71, под 971 г.); "бе миръ межю ими и любы" (124, под 996 г.); "жити мирно и в братолюбьстве" (145, под 1026 г.); "мирно пребывати, в совокуплении и въ сдравии" (136, под 1015 г.); и др. Соответственно в ряду несчастий первой ставилась война: "избавляюща отъ усобныя рати и отъ пронырьства дьяволя" (136); "ли проявленье рати, ли гладу, ли смерть проявляють" (161, под 1065 г.); "отъ рати и отъ продажь" (211, под 1093 г.); "рать и скорбь" (217, под 1093 г.). Из череды физических несчастий человека первенствовали раны: "приимаше раны, и наготу, и студень" (190, под 1074 г.); "многовещныа имуще раны, различныя печали и страшны мукы" (216, под 1093 г.); и пр. Из множества нравственных человеческих недостатков возглавляли перечень грехи: "умножишася греси наши и неправды" (208, под 1092 г.); "въстягнутися отъ греха, и отъ зависти, и отъ прочихъ злыхъ делъ неприязнинъ" (там же); "грехъ ради нашихъ великихъ и неправды, за умноженье безаконий нашихъ" (214, под 1093 г.); "греси ихъ и безаконья ихъ" (225, под 1096 г.).

Не трудно доказать, что и тут первым указывалось главное,— летописец был сосредоточен на главном.

И последнее. В летописи не только объекты, но и наборы качеств перечислялись с повторяющимся первым элементом. Великость предмета или существа стояла на первом месте: "Земля наша велика и обилна" (19, под 862 г.); "ископати яму велику и глубоку" (55, под 945 г.); "быкъ великъ и силенъ,... мужь.. превеликъ зело и страшенъ" (120—121, под 992 г.); "бе бо Болеславъ великъ и тяжекъ" (139, под 1016 г.); "бе бо великъ и силенъ Редедя" (143, под 1022 г.). И в перечислительных рассказах первой указывалась великость объектов: "имать градъ великъ быти, и церкви многи Богъ въздвигнути имать" (7); "звезда превелика, луче имущи акы кровавы" (160, под 1065 г.); "церкы, юже бе создалъ велику сущю, ...и

пристрои ю великою пристроею, украсивъ ю всякою красотою" (202, под 1089 г.).

По-видимому, из всех качеств летописец больше всего ценил великость. Недаром прилагательное "великий" намного чаще всех остальных прилагательных употреблялось в летописи[13]; недаром прилагательными "великий" и "велий" летописец характеризовал Бога гораздо чаще, чем другими определениями, хотя подчеркивание преимущественно великости или величия Бога не было обязательным; обилие повторявшихся формул с прилагательным "великий" — типа "честь великая", "плач великий", "победа великая" и т.д. — тоже свидетельствовало о предпочтении, которое летописец оказывал этому эпитету, тем более что некоторые летописные рассказы местами получились даже необычно заполненными подобными выражениями, как например, рассказ под 1103 г. о победе над половцами: "И Богъ великый вложи ужасть велику в половце,... велико спасенье Богъ створи, а на врагы наша дасть победу велику.. И придоша в Русь с полономъ великымъ, и с славою, и с победою великою" (268–269).

Но слово "великий" чрезвычайно многозначно в летописи, и поэтому встает вопрос: собственно говоря, какое же качество явлений летописец считал главным. Снова обратимся к семантике перечислений со словом "великий". Вот любопытный пример: под 862 г. рассказывается о том, как четыре племени — чудь, словены, кривичи и весь — пригласили к себе княжить варягов, называвшихся русью, и от тех варягов новое государство стало называться Русскою землею. Приглашавшие сказали о себе: "Земля наша велика и обилна" (19). Значение слова "великий" не ясно в данном отрывке, но здесь вряд ли имелось в виду то, что сейчас кажется нам: будто выражение "земля велика" обозначало большую территорию; на самом же деле летописец в своем повествовании нигде и никогда не затрагивал тему великости-обширности Русской или иной земли. Он, скорее всего, мыслил иной категорией: "земля великая" у него, в первую очередь, означала "землю многолюдную". В летописи немало свидетельств этого. Летописец неоднократно связывал великость с многолюдством. Он, например, перечислил ряд днестровских племен и заключил перечисление такими словами: "Бе множьство ихъ..., да то ся зваху отъ грекъ Великая Скуфь" (12) — великая область, потому что населена множеством людей,— так летописец пояснил греческое название области. Различные иные явления летописец называл великими из-за их многолюдности, множества или многости участников. Например, характеризовал войско как великое из-за его бесчисленности: "И оступиша печенези градъ в силе велице, бещислено множьство около града" (64, под 968 г.). Сражение называлось великим из-за множества сражавшихся: "Брани же велице бывши, и мноземъ падающимъ отъ обою полку" (260, под 1097 г.). Победу летописец считал великой благодаря множеству убитых врагов: "И

сдея Господь въ тъ день спасенье велико,... мнози врази наши ту падоша" (224, под 1096 г.). Праздник великий предусматривал множество народу: "сотворяше праздникъ великъ, сзывая бещисленое множство народа" (122, под 996 г.). Великий плач подразумевал большое множество плачущих: "вси кияне великъ плачь створиша" (200, под 1086 г.), "во плачи и велице вопли, плака бо ся... весь градъ Киевъ" (196, под 1078 г.) — "весь Киевъ", "вси кияне" и есть косвенное обозначение огромного множества людей. В общем, если летописец так или иначе пояснял определение "великий", то всегда как множество, многолюдство. Так что выражение "земля наша велика и обилна", в первую очередь, означало: "земля наша многолюдна и обильна", и именно многолюдство летописец ставил на первое место как главное достоинство страны. Многолюдство выступало в летописи источником обилия, созидания: "умножившемъся человекомъ на земли — и помыслиша создати столпъ до небесе" (4); или в более скромных масштабах: "умножившимся братьи в печере... — и помыслиша поставити вне печеры манастырь" (154, под 1051 г.); или означало обилие чего-то нехорошего: "умножаться — и осквернять землю" (228, под 1096 г.); или от противного, когда безлюдность — источник оскудения: "городи вси опустеша, села опустеша — прейдемъ поля,... все тоще ныне видимъ, нивы поростъше..." (216, под 1093 г.) — так или иначе, но многолюдство всегда упоминалось первым как главное историческое обстоятельство.

Другие значения эпитета "великий" в перечислениях качеств объектов подтверждают, что летописец неспроста ставил этот эпитет на новое место. Короче говоря, и в перечислениях качеств у летописца господствовал культ выделения чего-то одного главного при гораздо меньшей внимательности ко всему остальному.

Опора на что-то одно главное являлась общим принципом литературного творчества летописца, повлиявшим не только на перечисления, но и на другие формы повествования в летописи. Так например, летописец нередко приводил краткие оценки различных явлений, причем каждое явление характеризовалось только по его главной черте, обычно одной. Например, состояние страны определялось по добру или по злу, сделанному этой стране, и летопись была заполнена соответствующими лапидарными оценками: "колико добра створилъ Русьстей земли" (128, под 1015 г.); "велико добро створиши земле Русскей" (267, под 1103 г.); или, напротив: "болше зло наводить Богъ на землю" (136, под 1015 г.); "земле Русьскей много зло створше" (194, под 1073 г.); "сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедехъ нашихъ, ни при отцихъ нашихъ, сякого зла" (252, под 1097 г.); и т.д. Доброе и злое состояния страны местами конкретизировались в летописи и почти всегда упоминались как единственный главный признак в каждом случае. Например: "подающа целебныя дары Русьстей земли" (134, под 1015 г.); или

же, напротив: "осквернися кровьми земля Руска" (77, под 980 г.); и более того: "губять землю Русьскую" (212, под 1093 г.), "погубили суть землю Русьскую" (221, под 1095 г.); и пр. Эти одиночные качества страны подбирались по принципу противоположности добра и зла. Такова, например, еще пара: "бысть тишина велика в земли" (145, под 1026 г.), но "бысть мятежь в земли Лядьске" (146, под 1030 г.).

И в более подробных описаниях летописец характеризовал явления по их главной черте. Так, он сравнительно более подробно рассказывал о различных церковных службах и их первым, главным элементом неизменно указывал пение: "пенья и службы архиерейски, престоянье дьяконъ" (105, под 987 г.); "устави въ манастыри своемь, како пети пенья манастырьская, и поклонъ какъ держати и чтенья почитати, и стоянье в церкви, и весь рядъ церковный..." (156, под 1051 г.); "бодру быти на пенье церковное, и на преданья отечьская, и почитанья книжная; паче же имети въ устехъ Псалтырь Давыдовъ подобаеть черноризцемъ" (179, под 1074 г.); и т.п. Краткие же упоминания служб сводились только к указанию пения: "стоять, поюще" (184, под 1074 г.); "со обычными песнми" (210, под 1093 г.); и пр.

И иные формы повествования отражали ту манеру летописца — опираться на что-то одно главное в характеристике объектов. Так, иногда летописец упоминал лишь самую броскую черту какого-нибудь существа, а остальные черты отказывался перечислять. Например, описал урода: "Бяшеть бо сиць: на лици ему срамнии удове, иного нелзе казати срама ради" (160, под 1065 г.) — летописец мог бы ограничиться общей оценкой без деталей или, напротив, перечислить несколько деталей, однако показательно, что он посчитал достаточной только одну деталь. Летописец таким же способом передавал суть речей некоторых летописных персонажей: приводил одно их краткое высказывание и далее делал лишь общую отсылку, что "ина словеса хулная глаголаху" (225, под 1096 г.).

Когда летописец противопоставлял какие-нибудь объекты, то он опять-таки основывался только на одном главном для данного случая признаке, не следя за соотношением всех прочих сообщаемых им сведений. Лишь в начале летописи, рассказывая об обычаях племен, летописец — редкий случай — противопоставил по две позиции: "поляне бо своихъ отець обычай имуть кротокъ и тихъ и ...брачный обычай имяху... А древляне живяху звериньскимъ образомъ,... и брака у нихъ не бываше" (12). Далее в летописи противопоставлялось только что-либо одно. Народы — по обуви: волжские болгары "суть вси в сапозехъ" — "поидемъ искать лапотниковъ", то есть другой народ (82, под 985 г.); человек человеку противопоставлялся по комплекции: один — "превеликъ зело", а другой "середний теломь" (121, под 992 г.); или по учености: один "хытръ книгамъ", а

другой "не книженъ" (201—202, под 1089 г.); боги противопоставлялись по месту пребывания: "Какый то богъ, седя в бездне? То есть бесъ. А Богъ есть на небеси" (172, под 1071 г.); оружие противопоставлялось по лезвиям: "оружье обоюду остро, рекше мечь" сопоставлялось с "оружьемь одиною стороною остромь, рекше саблями" (16); и т.д. — каждый раз в центре внимания летописец держал, как правило, один признак.

Теперь можно определить тип литературного творчества летописца в максимально широкой исторической перспективе, то есть по сравнению с нами. Пристрастие летописца к выделению главного в явлениях, особенно когда он пользовался перечислениями, вполне сопоставимо с гораздо более разветвленной иерархичностью элементов в наших современных литературных перечислениях. Однако прямой генетической связи тут усматривать не надо, иначе сравнительно с нами летописные перечисления с первым, главным элементом и неопределенной семантикой остальных элементов можно свысока оценить как ущербные, зачаточные или неразвитые; или же, напротив, сравнительно с древностью, перечисления в нашей современной литературе тоже можно неблагожелательно трактовать как ущербные, утерявшие культ выделения главного. Бесспорно лишь то, что летописные перечисления, во-первых, древние и, во-вторых, семантически просто другие. На этом основании литературное творчество летописца правомерно назвать архаическим, но конкретизировать, в чем состояла эта архаика, то есть давать общую оценку, можно только после того, как выяснены реальные точка зрения, цели и действия летописца и названы они терминами более или менее объективными, вне наших модернизирующих оценок.

Прежде всего встает вопрос об истории литературной архаики, представленной "Повестью временных лет" и ее перечислениями. Архаическая литературная манера выделять только главное, по-видимому, не уходила в глубокую древность, так как своей системой перечислений летопись уникальна и не имеет аналогий в более ранних памятниках, оригинальных и переводных, а в конкретных случаях главенство-первенство тех или иных категорий в перечислениях объяснимо самыми разными причинами, не сводимыми в единое целое,— от библейских традиций до политической реальности и быта.

Можно заметить дополнительную особенность архаичных летописных перечислений — их живую, еще не застывшую, еще не завершенную систематичность. Главные, первенствующие, повторявшиеся элементы летописец отбирал как придется — по самым разнообразным поводам: первым называл то самое крупное, большое, заметное, то самое значимое, ценное, сильное, то самое существенное, определяющее, обобщающее, то нечто старшее, начальное, исходное, подготовительное и т.д. Кстати, вся летопись составляет историю по годам, и первым указан 852 г. — год самого раннего, по

расчету летописца, употребления названия "Русь" в книжности, то есть хронологический перечень у летописца возглавляет не начальное событие, а начальное называние явления — это черта также архаична.

Летописец так и не определил безусловно первый, главный элемент состава многих и многих объектов. Например, в раю для него были главными то "красота", то "веселье", то свет. Когда летописец перечислял потребительские дары, блага или запасы, то на первое место он ставил меха: "одаривъ скорою, и чалядью, и воскомъ" (53, под 945 г.); но затем первым называл мед: "ради даемъ медомь и скорою" (57, под 946 г.); а вскоре — и челядь: "многи дары прислю ти: челядь, воскъ, и скъру, и вои в помощь" (61, под 955); потом меха вообще упоминал последними: "си жито держить, а си — *медъ, а си — рыбы, а си — скору*" (170, под 1071 г.). Возможно, таким способом летописец тонко различал ситуацию в некоторых рассказах. Но, вернее всего, он просто немного путался. Ведь в летописи он не оставил практически ни одного перечня без колебаний первого элемента, варьировал даже привычные парные сочетания, нередко уже ставшие формулами. Вот в паре "города и села" летописец первыми обычно упоминал города, например, в рассказе о несчастьях Русской земли: "городи вси опустеша, села опустеша" (216, под 1093 г.), но в этом же рассказе однажды поменял местами элементы: "опустеша села наша и городи наши" (215) — видимо, не придавал особого значения этой последовательности упоминаний. Так же и в сочетании "день и ночь" летописец постоянно указывал первым день, но иногда буквально в соседних строчках допускал вариации: "Водяшеть бо я въ день столпъ облаченъ, а в нощи столпъ огненъ. То се не столпъ водяше ихъ, но ангелъ идяше предъ ними в нощи и въ дне" (274, под 1110 г.) — сначала "въ день — в нощи", ко тут же "в нощи — въ дне". Примеров таких стихийных колебаний великое множество. Система перечислений в "Повести временных лет", вероятно, только-только сложилась, но содействовала опять-таки архаической солидности или монументальности повествования: только главное, без мелочной иерархичности.

Вообще же, "Повесть временных лет" составила всего лишь эпизод в огромной и богатой истории древнерусской литературной архаики XI–XIV вв.[14].

Осознание типа авторского творчества служит ключом к пониманию текстов памятника почти что в его первоначальной живости и крупности целей — вот в чем нужность предложенной научной темы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В скобках здесь и далее указываются страницы по изданию: Летопись по Лаврентиевскому списку. 3-е изд. / Изд. подгот. А.Ф.Бычков. СПб., 1897.

[2] Шахматов А.А. "Повесть временных лет" и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. IV. С. 42–43.

[3] Ср.: Шахматов А.А. Указ. соч. С. 45, 74.

[4] "Литературный портрет реального человека — завоевание литературы нового времени; для средневекового писателя начала XII в. такой портрет — задача еще явно непосильная" (Еремин И.П. Литература Древней Руси: Этюды и характеристики. М.; Л., 1966. С. 97).

[5] Ср.: "Он весь в деятельности, он представитель своего положения, он как бы обращен вовне — к зрителю, к окружающим" (Лихачев Д.С. Избр. работы в трех томах. Л., 1987. Т. 3. С. 35).

[6] "Добрые и злые помыслы возникают в сердце человека не изнутри, но всегда от толчка извне" (Еремин И.П. Указ. соч. С. 67).

[7] "...они у летописца меняют свой характер, как платье" (Еремин И.П. Указ. соч. С. 43).

[8] О мозаичности говорят по разным поводам и в разных выражениях разные исследователи: "Летопись — произведение монументального искусства, она мозаична" (Лихачев Д.С. Указ. соч. Л., 1987. Т. 2. С. 74); "мир... дробный в сознании летописца... Фрагментарность и связанная с нею порою внутренняя противоречивость летописного повествования...— ключ к пониманию и природы летописного человека" (Еремин И.П. Указ. соч. С. 75–76); "преобладал же в летописи рассыпанный или рассыпающийся мир — не панорама, а калейдоскоп" (Демин А.С. "Повесть временных лет" // Древнерусская литература: Восприятие Запада в XI–XIV вв. М., 1996. С. 145).

[9] Ср. высказывание "о глубоком архаизме летописного повествовательного стиля" (Еремин И.П. Указ. соч. С. 85).

[10] "...монументализм этот особый — динамичный" (Лихачёв Д.С. "Слово о полку Игореве" и культура его времени. 2-е изд., доп. Л., 1985. С. 51).

[11] Об отличии от источников см.: Шахматов А.А. "Повесть временных лет" и ее источники. С. 42–44, 72–73.

[12] Там же. С. 101–102.

[13] Ср.: Творогов О.В. Лексический состав "Повести временных лет": (Словоуказатели и частотный словник). Киев, 1984. С. 32, 164, 211.

[14] "Во многом это появление монументального стиля представляется загадочным, требующим дальнейших размышлений и изучений" (Лихачев Д.С. Избр. работы в трех томах. Л., 1987. Т. 1. С. 101).